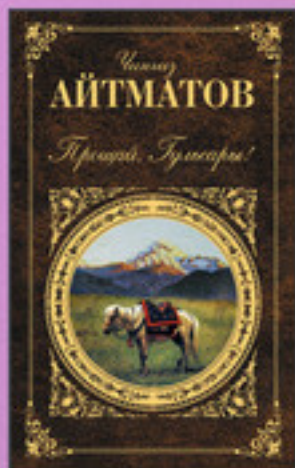


Чингиз Айтматов

Прощай, Гульсары!



Часть сборника
Прощай, Гульсары! (сборник)



Чингиз Айтматов
Прощай, Гультсары!

«ЭКСМО»

1966

Айтматов Ч. Т.

Прощай, Гульсары! / Ч. Т. Айтматов — «Эксмо», 1966

В повести «Прощай, Гульсары!» создан мощный эпический фон, ставший еще одной важной приметой творчества Айтматова, использовались мотивы и сюжеты киргизского эпоса Карагул и Коджоджан. Судьба главного героя, киргизского крестьянина Тананбая, так же типична, как судьбы лучших героев «деревенской прозы». Тананбай принимал участие в коллективизации, не жалея при этом родного брата, затем сам становился жертвой партийных карьеристов. Важную роль в повести играл образ иноходца Гульсары, который сопровождал Тананбая на протяжении долгих лет. Критики отмечали, что образ Гульсары является метафорой сущности человеческой жизни, в которой неизбежно подавление личности, отказ от естественности бытия. Г.Гачев назвал Гульсары характернейшим для Айтматова «двуголовым образом-кентавром» животного и человека

© Айтматов Ч. Т., 1966

© Эксмо, 1966

Содержание

1	5
2	10
3	18
4	21
5	25
Конец ознакомительного фрагмента.	28

Чингиз Айтматов

Прощай, Гульсары!

1

На старой телеге ехал старый человек. Буланый иноходец Гульсары тоже был старым конем, очень старым...

Дорога взбиралась на плато томительно долго. Среди серых, пустынных холмов зимой вечно крутит поземка, летом жара стоит, как в аду.

Для Танабая этот подъем всегда был сущим наказанием. Не любил он медленной езды, ну просто не переносил. В молодости, когда довольно часто приходилось ездить в райцентр, каждый раз на обратном пути он пускал коня в гору галопом. Не жалел его, нахлестывая камчой. Если же ехал с попутчиками на мажаре, да притом запряженной быком, спрыгивал на ходу, молча брал свою одежду и уходил пешком. Шел яростно, как в атаку, и останавливался, только поднявшись на плато. Там, хватая ртом воздух, ждал ползущую внизу колымагу. От быстрой ходьбы сердце бешено колотилось и кололо в груди. Но хоть и так, а все же лучше, чем тащиться на быках.

Покойный Чоро любил, бывало, подтрунить над чудачеством друга. Он говорил:

– Хочешь знать, Танабай, почему тебе не везет? От нетерпения. Ей-богу. Все тебе скорее да скорее. Революцию мировую подавай немедленно! Да что революция, обыкновенная дорога, подъем из Александровки и тот тебе неважно. Все люди как люди, едут спокойно, а ты соскочишь – и бегом в гору прешь, точно за тобой волки гонятся. А что выигрываешь? Ничего. Все равно сидишь там наверху, дожидаясь других. И в мировую революцию один не вскочишь, учти, будешь ждать, пока все подтянутся.

Но это было давно, очень давно.

На этот раз Танабай и не заметил, как миновал Александровский подъем. Привык, выходит, к старости. Ехал ни скоро, ни тихо. Ехал, как ехалось. Теперь он всегда отправлялся в путь один. Тех, кто ватагой ходил с ним когда-то по этой шумной дороге, уже не сыщешь. Кто погиб на войне, кто умер, кто сидит дома, век свой доживает. А молодежь ездит на машинах. На жалкой кляче тащиться с ним не будет.

Колеса стучали по старой дороге. Долго еще стучать им. Впереди лежала степь, а там, за каналом, надо было еще ехать предгорьем.

Он уже давно начал замечать, что конь вроде сдает, слабеет. Но занятый своими нелегкими мыслями, не очень беспокоился. Разве уж такая беда, что конь притомился в дороге? Не такое бывало. Довезет, дотянет...

Да и откуда он мог знать, что его старый иноходец Гульсары¹, прозванный так за свою необыкновенную светло-желтую масть, последний раз в своей жизни преодолел Александровский подъем и сейчас вез его последние версты? Откуда ему было знать, что голова коня кружилась, как от дурмана, что в его помутневшем взоре земля плыла цветными кругами, крепилась с боку на бок, задевая небо то одним, то другим краем, что дорога перед Гульсары временами вдруг обрывалась в темную пустоту и коню казалось, что впереди, куда он держит путь и где должны быть горы, плывет красноватый туман или дым?

Глухо и затянно ныло давно надсаженное сердце коня, дышать в хомуте становилось все трудней. Резала, сбившись набок, шлея, а с левой стороны под хомутом постоянно кололо что-то острое. Может, это была колючка или кончик гвоздя, вылезшего из войлочной подбивки

¹ Гульсары – желтый цветок, лютик.

хомута. Открывшаяся ранка на старой мозолистой намятине плеча нестерпимо жгла и зудела. И ноги все больше тяжелели, точно он шел по мокрому вспаханному полю.

Но старый конь все же шел, пересиливая себя, а старый Танабай, изредка понукая его, подергивал вожжами и все думал свою думу. Ему было о чем думать.

Колеса стучали по старой дороге. Гультары пока еще шел все той же привычной иноходью, все тем же особым ритмом, тротом, с которого он ни разу не сбивался с тех пор, как впервые встал на ноги и неуверенно затрусил по лугу за своей матерью – большой гривастой кобылой.

Гультары был иноходцем от рождения, и за его знаменитую иноходь выпало ему в жизни много хороших и много горьких дней. Раньше никому бы не пришло в голову запрячь его в телегу, это было бы кощунством. Но, как говорится, если беда свалится на коня – конь будет взнузданным воду пить, если беда свалится на молодца – молодец и вброд пойдет в сапогах.

Все это было, осталось далеко позади. Теперь иноходец шел к своему последнему финишу из последних сил. Никогда так медленно не шел он к финишу и никогда так быстро не приближался к нему. Последняя черта все время была от него на расстоянии одного шага.

Колеса стучали по старой дороге.

Ощущение неустойчивости земной тверди под копытами смутно всколыхнуло в угасшей памяти коня те давние летние дни, тот мокрый зыбкий луг в горах, тот удивительный и невероятный мир, в котором солнце ржало и скакало по горам, а он, глупыш, пускался вдогонку за солнцем через луг, через речку, через кусты, пока косячный жеребец со злобно прижатыми ушами не догонял его и не заворачивал назад. Тогда, в те давние дни, табуны, казалось, ходили вверх ногами, как в глубине озера, а его мать – большая гривастая кобыла – превращалась в теплое молочное облако. Он любил то мгновение, когда мать вдруг превращалась в ласково фыркающее облако. Соски ее становились тугими и сладкими, молоко пенилось на губах, и он захлебывался от обилия его и сладости. Он любил стоять так, уткнувшись в живот своей большой гривастой матери. Какое это было упоительное, пьяное молоко! Весь мир – солнце, земля, мать – умещался в глотке молока. И, уже насытившись, можно было сделать еще глоток, потом еще и еще...

Увы, это продолжалось недолго, совсем недолго. Скоро все изменилось. Солнце в небе перестало ржать и скакать по горам, оно всходило строго на востоке и неуклонно шло на запад, табуны перестали ходить вверх ногами, под их копытами истоптанный луг чавкал и темнел, а камни на отмели цокали и лопались. Большая гривастая кобыла оказалась строгой матерью, она больно кусала его за холку, когда он слишком надоедал. Молока уже не хватало. Надо было есть траву. Начиналась та жизнь, которая тянулась долгие годы и которой теперь подходил конец.

За всю свою долгую жизнь иноходец никогда не возвращался в то ушедшее навсегда лето. Он ходил под седлом, махал ногами по разным дорогам, под разными седоками, а дорогам все не было конца. И только теперь, когда солнце вновь стронулось с места, а земля закачалась под ногами, когда в глазах его зарябило и замутилось, ему снова почудилось то лето, которое так долго не возвращалось. Те горы, тот мокрый луг, те табуны, та большая гривастая кобыла стояли сейчас перед его глазами в странном зыбком мерцании. И, весь напрягаясь, вытягиваясь, он отчаянно заработал ногами, чтобы, вырвавшись из-под дуги, выскочив из хомута и оглобель, вступить в этот прошлый, вдруг снова открывшийся ему мир. Но обманчивое видение всякий раз отодвигалось, и это было мучительно. Мать манила его, как в детстве, тихим ржанием, табуны проносились, как в детстве, задевая его боками и хвостами, а у него не хватало сил преодолеть мерцающую мглу метели – она разыгрывалась вокруг все сильнее, она секла его жесткими хвостами, она забивала ему снегом глаза и ноздри, в жарком поту он содрогался от холода, и тот недостижимый мир бесшумно утопал, исчезал в метельных вихрях. Вот уже исчезли горы, луг, река, убежали табуны, и лишь смутным пятном проступала впереди тень матери – большой гривастой кобылы. Она не хотела его оставлять. Она звала его. Он заржал

изо всех сил, рыдая, но голоса своего не услышал. И все исчезло, исчезла и метель. Колеса перестали стучать. Перестала щемить ранка под хомутом.

Иноходец остановился, зашатался из стороны в сторону. Глазам было больно смотреть. Странный бесконечный гул стоял в голове.

Танабай бросил вожжи на передок, неловко слез с телеги, расправил затекшие ноги и хмуро подошел к коню.

– Эх, будь ты неладен! – тихо выругался он, глядя на иноходца.

Тот стоял, вывалив из хомута огромную голову на длинной, исхудавшей шее. Ребра иноходца туго ходили вверх и вниз, вздымая худые, дряблые бока под маклаками. Некогда светло-желтый, золотой, он был теперь бурый от пота и грязи. Сизые потеки пота мыльными полосами спускались с костистого крестца на брюшину, на ноги, на копыта.

– Вроде бы я не гнал, – пробормотал Танабай и засуетился. Ослабил подпругу, развязал супонь, разнуздal коня. Удила были в горячей липкой слюне. Рукавом шубы отер иноходцу морду и шею. Потом кинулся к телеге – собрать остатки сена, наскреб пол-охапки, бросил к ногам коня. Но тот не притронулся к корму, его била мелкая дрожь.

Танабай поднес иноходцу клок сена.

– На бери, ешь, ну что же ты!

Губы иноходца шевельнулись, однако не смогли захватить сена. Танабай заглянул ему в глаза и помрачнел. В глубоко запавших, полуприкрытых облезлыми складками век глазах лошади он ничего не увидел. Они померкли и были пусты, как окна заброшенного дома.

Танабай растерянно огляделся по сторонам: вдали – горы, окрест – голая степь и на дороге никого не видно. В эту пору года проезжие здесь – редкость.

Старый конь и старый человек стояли одни на пустынной дороге.

Был конец февраля. Снег уже сошел с равнин, только по оврагам да камышовым буеракам оставались еще в затаенных логовах зимы волчьи хребтины последних сугробов. Ветер доносил слабый запах лежалого снега, и земля была еще смерзшаяся, сизая, не ожившая. Бесприютна и уныла каменная степь в конце зимы. От одного ее вида у Танабая заохлоло внутри.

Вскинув всклокоченную сивую бороду, он долго смотрел из-под пожухлого рукава шубы на запад. Солнце зависало среди облаков над краем земли. И уже сочился по горизонту неяркий, дымный закат. Непогоды ничто не предвещало, а все же было холодно и жутковато.

«Знал бы, не выезжал лучше, – сокрушался Танабай. – А теперь ни туда, ни сюда, стой среди чистого поля. И коня понапрасну загублю».

Да, пожалуй, ему надо было выехать завтра утром. Днем, случись что в пути, все-таки может подвернуться какой-нибудь проезжий. А он выехал уже за полдень. Разве же можно так в эту-то пору?

Танабай поднялся на пригорок, чтобы взглянуть, не покажется ли вдали попутная или встречная машина. Но ни в той, ни в другой стороне ничего не было видно и слышно. Он побрел назад к телеге.

«Зря я выехал», – опять подумал Танабай, уже в который раз упрекая себя за вечную спешку. Он злился от досады и на самого себя и на все то, что вынудило его поторопиться с отъездом из дома сына. Конечно, надо было переночевать и дать коню передохнуть. А он?..

Танабай сердито махнул рукой. «Нет, все равно не остался бы. Пешком ушел бы! – оправдывался он перед собой. – Разве же можно так говорить с отцом мужа? Какой я ни есть, а все же отец. Ишь ты, зачем было вступать в партию, если всю жизнь в пастухах да в табунщиках проходил, к старости выгнали... Сын тоже хорош. Молчит, глаза боится поднять. Скажет она ему: откажись от отца – и откажется. Тряпка, а тоже в начальство лезет. Эх, что там говорить? Не тот народ пошел, не тот».

Танабаю стало жарко, он расстегнул ворот рубашки и, трудно дыша, начал ходить вокруг телеги, забыв про коня, про дорогу, про наступающую ночь. И никак не мог успокоиться. Там, в

доме сына, он сдержался, посчитал ниже своего достоинства пререкаться с невесткой. А сейчас вдруг вскипел, сейчас бы он все, о чем горько думал по дороге, высказал ей: «Не ты принимала меня в партию, и не ты выгоняла. Откуда тебе знать, невестка, что тогда было? Теперь обо всем судить легко. Теперь всяк грамотный, почет и уважение тебе. А с нас спрашивали, да как еще спрашивали! За отца, за мать, за друга и недруга, за себя, за собаку соседскую, за все на свете были в ответе. А что исключили, так это ты не тронь! Это моя печаль, невестушка. Это ты не тронь!»

– Это ты не тронь! – продолжал повторять он вслух, топчась у телеги. – Это ты не тронь! – твердил он все одно и то же. И самое обидное, унижительное было в том, что, кроме этого «не тронь», вроде бы и сказать было нечего.

Он все ходил и ходил вокруг телеги, пока не вспомнил, что надо что-то делать – не оставаться же здесь на всю ночь.

Гульсары стоял в упряжи все так же неподвижно, ко всему безучастный, сторбившись, подобрал ноги в кучу, – казалось, одеревенел, умер.

– Ты что? – Танабай подскочил к нему и услышал тихий протяжный стон коня. – Задремал? Худо тебе, старина? Плохо? – Он торопливо пощупал холодные уши иноходца, сунул руку под гриву. Там тоже было холодно и влажно. Но больше всего его испугало то, что он не ощутил привычной тяжести гривы. «Совсем постарел, иссеклась грива, легкая, как пушок. Все мы стареем, всем нам один конец», – с горечью подумал он. И встал в нерешительности, не зная, что делать. Если бросить коня с телегой и уйти пешком, то к полуночи он мог бы добраться до дома, до своей сторожки в ущелье. Жил он там на базе с женой, по соседству со смотрителем водхоза, обитавшим в полутора километрах выше по речке. Летом Танабай присматривал за сенокосом, зимой за скирдами, чтобы чабаны не растащили и не потравили сено раньше срока.

Минувшей осенью как-то приехал он в контору по делам, а новый бригадир, молодой агроном из приезжих, и говорит ему:

– Идите, аксакал, на конюшню, мы там коня вам другого подобрали. Староват, правда, но для вашей работы сойдет.

– Это какого же? – насторожился Танабай. – Опять клячу какую-нибудь?

– Там вам покажут. Буланный такой. Вы должны знать, говорят, ездили на нем когда-то.

Танабай отправился на конюшню, и, когда увидел во дворе иноходца, сердце у него больно сжалось. «Вот и свиделись, выходит, снова», – сказал он про себя старому, заезженному вконец коню. А отказаться не хватило духу. Увел коня с собой.

Дома жена едва узнала иноходца.

– Танабай, неужели этот тот Гульсары? – удивилась она.

– Он, он самый, что ж тут такого... – пробурчал Танабай, стараясь не смотреть жене в глаза.

Им не стоило особенно вдаваться в воспоминания, связанные с иноходцем. Был за Танабаем грех по молодости, был. И чтобы избежать нежелательного оборота разговора, он грубовато сказал ей:

– Ну, что стоишь, согрей мне поесть. Голодный я как собака.

– Да вот смотрю и думаю, – ответила она, – это значит старость. Не скажи ты мне, что это тот самый Гульсары, и не признала бы.

– Что ж тут удивляться? Думаешь, мы с тобой лучше выглядим! Всему свое время.

– Вот и я ж об этом. – Она задумчиво покачала головой и, добродушно посмеиваясь, сказала: – Может, ты опять по ночам будешь разъезжать на своем иноходце? Разрешу.

– Куда там, – неловко отмахнулся он и повернулся к жене спиной. На шутку бы шуткой ответить, а он от смущения полез под крышу сарая за сеном. Долго там возился. Думал, забыла она про то, выходит, нет.

Из трубы валил дым, жена грела на ужин остывший обед, а он все возился с сеном, пока она не крикнула из дверей:

– Слезай, а то еда опять остынет.

Больше она не заговаривала о давнем, да и к чему?..

Всю осень и зиму Танабай выхаживал иноходца, кормил теплыми отрубями, резаной свеклой. Зубы-то у Гульсары были на исходе, одни пеньки оставались. И казалось, поставил уже коня на ноги, так надо же случиться такому. Как теперь с ним быть?

Нет, не хватало у него духу кинуть коня среди дороги.

– Что ж, Гульсары, так и будем стоять? – Танабай толкнул иноходца рукой, тот закачался, переступил ногами. – А ну, постой, я сейчас.

Он поднял кнутовищем со дна телеги порожний мешок, в котором привозил невестке картошку, достал оттуда узелок. Жена испекла хлеба на дорогу, а он и забыл о нем, не до еды было. Танабай отломил половину лепешки, мелко крошил ее в подол бешмета, поднес крошево коню. Гульсары шумно вдохнул запах хлеба, но есть не смог. Тогда Танабай стал кормить его с ладони. Затолкал ему в рот несколько кусочков, и конь начал жевать.

– Ешь, ешь, может, и дотянем, а? – Танабай повеселел. – Потихоньку, полегоньку, может, доберемся, а? А там не страшно, там мы со старухой выходим тебя, – приговаривал он. На его дрожащие руки стекала с лошадиных губ слюна, а он радовался, что слюна становится теплее.

Потом он взял иноходца за повод.

– А ну пошли! Нечего стоять. Пошли! – приказал он решительно.

Иноходец тронулся с места, телега закрипела, колеса медленно застучали по дороге. И они медленно пошли – старый человек и старый конь.

«Совсем ослаб, – думал Танабай про коня, шагая по обочине. – Сколько же тебе лет, Гульсары? Двадцать, а то и больше. Пожалуй, что больше...»

2

Первый раз встретились они после войны. Побывал ефрейтор Танабай Бакасов и на Западе и на Востоке, демобилизовался после капитуляции Квантунской армии. В общей сложности почти шесть лет прошагал он по солдатским дорогам. И ничего, бог миловал, один раз контузило в обозе, другой раз ранило осколком в грудь, месяца два лежал в госпитале и снова догнал свою часть.

А когда возвращался домой, станционные торговки называли его стариком. Ну, это больше в шутку. Танабай не очень-то обижался на них. Не молодой он был, конечно, но и не старый, это с виду будто старый, побурел порядком за войну, седина замелькала в усах, но телом и духом он был еще крепкий. Через год жена родила дочь, а потом вторую. Обе уже замужем, с детьми. Частенько наезжают летом. Муж старшей – шофер. Посадит всех в кузов – и в горы, к старикам. Нет, не в обиде они на дочерей и зятьев, а вот сын не вышел. Но это разговор другой...

А тогда в пути, после победы, казалось, что жизнь-то настоящая только начинается. Так хорошо было на сердце. На больших станциях эшелон встречали и провожали духовые оркестры. Дома жена ждала, сынишке восьмой год шел, в школу собирался. Ехал с таким ощущением, точно бы родился на свет заново, точно бы все, что было до этого, вроде уже не в счет. Хотелось все забыть, хотелось думать только о будущем. И представлялось оно ясным, простым: надо жить, детей растить, хозяйство налаживать, дом строить, в общем – жить. И этому уже ничто больше не должно помешать, – потому что все прошлое как бы отдано было в залог, что теперь-то наконец начнется та настоящая жизнь, к которой все это время стремились, ради которой побеждали и умирали на войне.

Только оказалось, спешил Танабай, слишком спешил – в залог будущего надо было отдать еще годы и годы.

Сначала поработал он в кузнице молотобойцем. Имел когда-то в этом сноровку и, дорвавшись до наковальни, с утра до вечера сыпал сплеча так, что кузнец едва успевал поворачивать под молотом раскаленный кусок железа. Ему и сейчас еще слышится иной раз тот перестук и звон в кузнице, что заглушал все тревоги и заботы. Не хватало хлеба, одежды, женщины ходили в галошах на босу ногу, детишки не знали, что такое сахар, колхоз весь в долгах сидел, счета в банке были арестованы, а он отмахивался от всего этого молотом. Ухал им, наковальня звенела, разлетались синими брызгами искры. «Уг-ха, уг-ха! – выдыхал он, вздымая и опуская молот, и думал: – Все уладятся, главное – победили, главное – победили!» А молот вторил: – «Победили, победили, дили, дили, дили!» И не только он, в те дни все жили воздухом победы, как хлебом.

А потом Танабай пошел в табунщики, уехал в горы. Чоро его уговорил. Покойный Чоро был тогда председателем колхоза, он всю войну председательствовал. В армию его не взяли из-за больного сердца. Вроде и дома он сидел, а постарел здорово. Танабай это сразу заметил, когда вернулся.

Вряд ли кто другой уговорил бы его сменить кузню на табун. Но Чоро был его давнишним другом. Вместе они когда-то начинали комсомольцами агитировать за колхоз, вместе кулаков раскулачивали. Особенно он, Танабай, старался тогда. Не щадил он тех, кто попадал в список на раскулачивание...

Уговорил его Чоро, приехав к нему в кузницу, и, кажется, очень был доволен этим.

– А я боялся, что ты прирос к молоту, не оторвешь, – говорил он, улыбаясь.

Больной был Чоро, тощий, шея вытянулась, морщины залегли на впалых щеках. Время еще было теплое, но Чоро и летом ходил в своей неизменной фуфайке.

Сидели они, опустившись на корточки, у арыка, неподалеку от кузницы, беседовали. Вспомнилось Танабаю, каким был Чоро в молодости. В ту пору он был самым грамотным в аиле и видным собой парнем. Люди уважали его за спокойный, добрый нрав. А Танабаю не нравилась его доброта. На собраниях он, бывало, вскакивал и прорабатывал Чоро за недопустимую мягкотелость в классовой борьбе с врагом. Получалось у него это крепко, прямо как по газете. Все, что слушал на громких читках, наизусть повторял. Иной раз самому становилось страшно от своих слов. Зато здорово получалось.

– Понимаешь, был я третьего дня в горах, – рассказывал Чоро. – Старики спрашивают, все ли солдаты вернулись? Да все, говорю, кто в живых остался. «А когда думают братья за работу?» Работают уже, отвечаю, кто на поле, кто на стройке, кто где. «Это и мы знаем. А табуны кому водить? Будут ждать, пока мы помрем, так нам немного уже осталось». стыдно мне стало. Понимаешь, к чему разговор ведут? Стариков этих мы в войну послали в горы табунщиками. С тех пор они там. Не тебе говорить, дело это не стариковское. Вечно в седле, ни днем ни ночью покоя. А в зимние ночи как! Помнишь Дербишбая, тот так и окоченел в седле. А они ведь и коней объезжали – армии нужны были кони. Попробуй на седьмом десятке лет, чтоб потаскал тебя как-нибудь сатана по горам да по долам. Костей не соберешь. Спасибо им и на том, что выстояли. А фронтовики вот вернулись и нос воротят, культуры понавидались за границей, в табунщики уже не желают. Зачем, мол, мне скитаться по горам? Вот как получается. Так что выручай, Танабай. Ты пойдешь, тогда и других заставим.

– Хорошо, Чоро, попробую поговорю с женой, – отвечал Танабай. А сам думал: «Жизнь-то какая прошумела над головой, а ты, Чоро, все такой же. Сгораешь от своей доброты. Может, это и хорошо. Всякое повидали за войну, нам бы всем добрее быть. Может, это и есть самое верное в жизни?»

На том они было и разошлись.

Танабай пошел к себе в кузницу. Но Чоро вдруг окликнул его:

– Постой, Танабай. – Он подъехал к нему на коне, склонился на луку седла, заглядывая в лицо. – Ты, случаем, не обижаешься? – спросил негромко. – Понимаешь, времени никак не выкрою. Посидеть хотелось, поговорить по душам, как бывало. Сколько лет не виделись. Думал, кончится война, легче станет, а забот не убавляется. Иной раз глаз не сомкнешь, всякие мысли лезут в голову. Как сделать, чтобы хозяйство поднять, народ накормить и чтобы планы все выполнять. И люди уже не те, жить хотят лучше...

Но им так и не удалось потолковать по душам, так и не нашли они случая посидеть наедине. А время шло, потом было уже поздно...

Вот тогда-то, отправившись в горы табунщиком, Танабай впервые и увидел там в табуне старого Торгой буланого жеребчика-полуторалетку.

– В наследство что оставляешь, аксакал? Табун-то не ахти, а? – уязвил Танабай старого табунщика, когда лошади были пересчитаны и выгнаны из загона.

Торгой был сухонький старичок без единой волосинки на сморщенном лице, сам с локоток, как подросток. Большая косматая баранья шапка сидела на нем, словно гриб. Такие старики обычно легки на подъем, занозисты и горласты.

Но Торгой не вспылит.

– Какой есть, табун как табун, – невозмутимо ответил он. – Хвалиться особенно нечем, погоняешь – увидишь.

– Да я так, отец, к слову, – примирительно промолвил Танабай.

– Один есть! – Торгой сдвинул с глаз нависшую шапку и, привстав на стременах, показал рукояткой камчи. – Вон тот буланный жеребчик, что с правого края пасется. Далеко пойдет.

– Это который – вон тот, круглый, как мяч? Что-то мелковат с виду, поясница короткая.

– Поздныш он. Выправится – ладный будет.

– А что в нем? Чем он хорош?

– Иноходец от роду.

– Ну и что?

– Таких мало встречал. В прежние времена ему цены не было бы. За такого в драках на скачке головы клали.

– А ну глянем! – предложил Танабай.

Они прищипорили коней, пошли краем табуна, отбили буланого в сторону и погнали его перед собой. Жеребчик не прочь был пробежаться. Он весело тряхнул челкой, фыркнул и пошел с места, как заводной, четкой, стремительной иноходью, описывая большой полукруг, чтобы вернуться к табуну. Увлеченный его бегом, Танабай закричал:

– О-о-о, смотри, как идет! Смотри!

– А ты как думал, – задорно отозвался старый табунщик.

Они быстро рысили вслед за иноходцем и кричали, как маленькие дети на байге. Голоса их словно бы подстегивали жеребчика, он все убыстрял и убыстрял бег, почти без напряжения, без единого сбоя на скач, шел ровно, как в полете.

Им пришлось пустить коней в галоп, а тот продолжал идти в том же ритме иноходи.

– Ты видишь, Танабай! – кричал на скаку Торгой, размахивая шапкой. – Он на голос чуткий, смотри, как поднадает на крик! Айт, айт, ай-та-а-ай!

Когда буланный жеребчик вернулся наконец к табуну, они оставили его в покое. Но долго еще не могли уgomониться, проезжая своих разгоряченных лошадей.

– Ну спасибо, Торгой-аке, хорошего коня вырастил. На душе даже веселей стало.

– Хорош, – согласился старичок. – Только ты смотри, – вдруг посуровел он, скребя в затылке. – Не сглазь. И прежде времени не болтай. На хорошего иноходца, как на красивую девку, охотников много. Девичья судьба какая: попадет в хорошие руки – будет цвести, глаза радовать, попадет к какому-нибудь дурню – страдать будешь, глядя на нее. И ничем не поможешь. Так и с хорошим конем. Загубить просто. Упадет на скаку.

– Не беспокойся, аксакал, я ведь тоже разбираюсь в этом деле, не маленький.

– Вот то-то. А кличка его – Гульсары. Запомни.

– Гульсары?

– Да. Внучка прошлым летом приезжала гостить.

Это она так прозвала его. Полюбила. Тогда он стригунком был. Запомни: Гульсары.

Словоохотливым оказался старичком Торгой. Всю ночь наказания давал. Танабай терпеливо выслушивал.

Провожал он Торгою и жену его верст семь от стойбища. Оставалась пустая юрта, в которой он должен был поселиться с семьей. В другой юрте поселится его помощник. Но помощника еще не подобрали. Пока он был один.

На прощанье Торгой снова напомнил:

– Буланого пока не тронь. И никому не доверяй. Весной сам объезжай его. Да смотри, осторожней. Как пойдет под седлом, сильно не гони. Задержашь, собьется с иноходи, испортишь коня. Да смотри, чтобы в первые дни не опился сгоряча. Вода на ноги упадет, мокрецы пойдут. А когда выездишь – покажешь, если не умру...

И уехал Торгой со своей старухой, оставив ему табун, юрту, горы, уводя с собой верблюда, навьюченного пожитками...

Если бы знал Гульсары, сколько разговоров шло о нем и сколько еще будет и к чему это все приведет!..

Он по-прежнему вольно ходил в табуне. Вокруг было все то же, те же горы, те же травы и реки. Только вместо старика стал гонять их другой хозяин – в серой шинели и в солдатской ушанке. Голос нового хозяина был с хрипотцой, но громкий и властный. Табун к нему вскоре привык. Пусть себе носится вокруг, если нравится.

А потом пошел снег. Он выпадал часто и долго лежал. Лошади разгребали снег копытами, чтобы добраться до травы. Хозяин почернел лицом, и руки его задубели от ветров. Теперь он ходил в валенках, кутался в большую шубу. Гульсары оброс длинной шерстью, и все же ему было холодно, особенно по ночам. В морозные ночи табун сбивался в затишке в плотную кучу и стоял так, индеея, до восхода солнца. Хозяин тут же топтался на коне, хлопал рукавицами, растирал лицо. Иногда исчезал и снова появлялся. Лучше было, когда он не отлучался. Крикнет он или крякнет от мороза – табун вскинет головы, наострит уши, но тут же, убедившись, что хозяин рядом, задремлет под шорох и посвист ночного ветра. С той зимы Гульсары запомнил голос Танабая на всю жизнь.

Забуранило однажды ночью в горах. Сыпал колкий снег. Он набивался в гриву, тяжелил хвост, залеплял глаза. Непокойно было в табуне. Лошади жались друг к другу, дрожали. Старые кобылицы тревожно храпели, загоня жеребят в середину табуна. Они оттеснили Гульсары на самый край, и он никак не мог пробиться в кучу. Стал брыкаться, расталкивать других, оказался вовсе в стороне, и тут ему здорово досталось от косячного жеребца. Тот давно уже колесил вокруг, пахал снег крепкими ногами, сбивал табун в кучу. Иногда он бросался куда-то в сторону, угрожающе пригнув голову и прижав уши, пропадал в темноте, слышался только его храп, и снова прибегал к лошадям, злой и грозный. Заметив отошедшего в сторону Гульсары, он налетел на него грудью и, развернувшись, со страшной силой ударил его задними копытами по боку. Это было так больно, что Гульсары чуть не задохнулся. Внутри у него что-то ухнуло, он взвизгнул от удара и едва устоял на ногах. Больше он не пытался своевольничать. Смирно стоял, прибившись с края табуна, с ноющей болью в боку и обидой на свирепого жеребца. Лошади приутихли, и тут он услышал смутный тягучий вой. Он никогда не слышал волчьего воя и почувствовал, как все в нем на миг приостановилось и заледенело. Табун дрогнул, напрягся, прислушиваясь. Все стихло. Но тишина эта была жуткая. Снег все сыпал, с шорохом налипая на вскинутую морду Гульсары. Где хозяин? Он так нужен был в эту минуту, хотя бы голос его услышать, вдохнуть дымный запах его шубы. А его нет. Гульсары покосил глазами в сторону от себя и оцепенел от страха. Сбоку точно бы мелькнула какая-то тень, пластаясь во тьме по снегу. Гульсары резко отпрянул, и табун тотчас же шарахнулся, сорвался с места. С диким визгом и ржанием обезумевшие лошади понеслись лавиной в крошечную тьму. И не было уже такой силы, которая могла бы их остановить. Лошади рвались вперед изо всей мочи, увлекая друг друга, как камни горного обвала, сорвавшиеся с крутизны. Ничего не понимая, Гульсары мчался в жаркой, бешеной скачке. И вдруг раздался выстрел, затем прогрохотал второй. Лошади слышали на бегу яростный крик хозяина. Крик раздался где-то сбоку и, не стихая, пошел им наперерез и затем оказался впереди. Они настигали теперь этот неумолкавший голос, он вел их за собой. Хозяин был с ними. Он скакал впереди, рискуя сорваться в любую минуту в расщелину или в пропасть. Он кричал уже вполсилы, потом стал хрипеть, но продолжал подавать голос: «Кайт, кайт, кайта-а-айт!» И они бежали вслед, спасаясь от преследующего их ужаса.

К рассвету Танабай пригнал табун на старое место. И только тут лошади остановились. Пар валил над табуном густым туманом, лошади тяжело водили боками и все еще дрожали от пережитого испуга. Горячими губами хватали они снег. Танабай тоже ел снег. Сидел на корточках и пригоршнями совал в рот белые холодные комки. Потом вдруг будто замер, уткнувшись лицом в ладони. А снег все сыпал сверху, таял на горячих лошадиных спинах и стекал вниз мутными, желтыми каплями...

Сошли глубокие снега, открылась, зазеленела земля, и Гульсары быстро набирал тело. Табун слинял, залоснился новой шерстью. Зимы и бескормицы будто и в помине не было. Лошади не помнили об этом, помнил об этом человек. Помнил стужу, помнил волчьих ночи, помнил, как застывал в седле, как кусал губы, чтобы не заплакать, отогревая у костра закочевшие руки и ноги, помнил весенний гололед, свинцовой коростой сковавший землю, пом-

нил, как гибли тогда слабые в табунах, как, спустившись с гор, не поднимая глаз, подписывал он в конторе акты о падеже лошадей и как, взорвавшись вдруг, орал и стучал кулаком по столу председателя.

– Ты на меня не смотри так! Я тебе не фашист! Где сараи для табунов, где корм, где овес, где соль? На одном ветру держимся! Разве же так велено нам хозяйствовать? Посмотри, в каком рванье мы ходим! Посмотри на наши юрты, посмотри, как я живу! Хлеба досыта не едим. На фронте и то в сто раз лучше было. А ты еще смотришь на меня, будто я сам передушил этих лошадей!

Помнил страшное молчание председателя, его посеревшее лицо. Помнил, как ему стыдно стало своих слов и как он начал извиняться.

– Ну, ты, ты прости меня, я погорячился, – запинаясь, выдавил он из себя.

– Это ты должен простить меня, – сказал ему Чоро.

И еще больше стало ему стыдно, когда председатель, вызвав кладовщицу, распорядился:

– Выдай ему пять кило муки.

– А как же ясли?

– Какие ясли? Вечно ты все путаешь! Выдай! – резко приказал Чоро.

Танабай хотел было отказаться наотрез, скоро, мол, молоко пойдет, кумыс будет, но, глянув на председателя и разгадав его горький обман, заставил себя промолчать. Потом он всякий раз обжигался лапшой из этой муки. Бросал ложку:

– Ты что, спалить меня собираешься, что ли?

– А ты остуди, не маленький, – спокойно отвечала жена.

Помнил он, все помнил...

Но стоял уже май. Голосили жеребцы, сшибаясь в схватке один на один, угоня молодых кобылиц из чужих косяков. Отчаянно носились табунщики, разгоня драчунов, ругались между собой, иногда тоже схватывались, замахивались плетками. Гульсары дела не было до всего этого. Солнце светило вперемежку с дождями, трава лезла из-под копыт. Луга стояли зеленые-зеленые, а над ними сияли белые-белые снега на вершинах хребтов. Прекрасную пору молодости начинал в ту весну буланный иноходец. Из мохнатого кургузого полуторалетки он превращался в стройного, крепкого жеребчика. Он вытянулся, корпус его, утратив мягкие линии, принимал уже вид треугольника – широкая грудь и узкий зад. Голова его тоже стала как у истинного иноходца – сухая, горбоносая, с широко расставленными глазами и подобранными, упругими губами. Но ему и до этого не было никакого дела. Одна лишь страсть владела им пока, доставляя хозяину немалые хлопоты, – страсть к бегу. Увлекая за собой своих сверстников, он носился среди них желтой кометой. В горы и вниз со склонов, вдоль по каменистому берегу, по крутым тропам, по урочищам и по лощинам гоняла его без усталости какая-то неистощимая сила. И даже глубокой ночью, когда он засыпал под звездами, снилось ему, как убегала под ним земля, как ветер посвистывал в гриве и ушах, как лопотали и словно бы звенели копыта.

К хозяину он относился так же, как и ко всему другому, что прямо его не касалось. Не то чтобы любил его, но и не питал никакой неприязни, потому что тот ничем не стеснял ему жизнь. Разве что ругался, догоняя их, когда они слишком далеко уносились. Иногда хозяину удавалось разок-другой стегануть буланого по крупу укруком². Гульсары вздрагивал при этом всем телом, но больше от неожиданности, чем от удара, и еще пуще прибавлял шаг. И чем сильнее он бежал, возвращаясь к табунах, тем больше нравился своему хозяину, скакавшему следом с укруком наперевес. Иноходец слышал сзади себя одобрительные покрики, слышал, как тот начинал петь в седле, и в такие минуты он любил хозяина, любил бежать под песню. Потом он хорошо узнал эти песни – разные были среди них, веселые и печальные, длинные

² Укрук – длинная палка с петлей на конце для ловли лошадей.

и короткие, со словами или без слов. Любил он еще, когда хозяин кормил табун солью. В длинные дощатые корыта на колышках хозяин разбрасывал комки лизунца. Наваливались всем табуном, то-то было наслаждение. На соли-то он и попался.

Как-то раз забарабанил хозяин в порожнее ведро, стал скликать лошадей: «По, по, по!» Лошади сбежались, припали к корытам. Гульсары лизал соль, стоя среди других, и ничуть не беспокоился, когда хозяин вместе с напарником стали обхаживать табун с укруками в руках. Это его не касалось. Укруком ловили верховых лошадей, дойных кобылиц и прочих, но только не его. Он был вольный. И вдруг волосная петля скользнула по его голове и повисла на шее. Гульсары не понимал, в чем дело, петля пока не пугала его, и он продолжал лизать соль. Другие лошади рвутся, на дыбы встают, когда на них накидывают укрук, а Гульсары не шелохнулся. Но вот ему захотелось побежать к реке напиться. Он стал выбираться из табуна. Петля на шее стянулась и остановила его. Такого еще никогда не бывало. Гульсары отпрянул, захрапел, выкатывая глаза, затем взвился на дыбы. Лошади вокруг мигом рассыпались, и он оказался один на один с людьми, держащими его на волосном аркане. Хозяин стоял впереди, за ним – второй табунщик, и тут же топтались мальчишки табунщиков, появившиеся здесь недавно и уже изрядно надоевшие ему своими бесконечными скачками вокруг табуна.

Иноходца охватил ужас. Он рванулся на дыбы еще раз, затем еще и еще, солнце замельтешило в глазах, рассыпаясь жаркими кругами, горы, земля, люди падали, опрокидываясь навзничь, глаза застила на миг черная, пугающая пустота, которую он молотил передними ногами.

Но сколько он ни бился, петля затягивалась все туже, и, задыхаясь, иноходец метнулся не в сторону от людей, а к ним. Люди шарахнулись, петля на секунду ослабла, и он с разгона поволок их по земле. Женщины закричали, погнались мальчишек к юртам. Однако табунщики успели встать на ноги, и петля снова захлестнулась на шее Гульсары. В этот раз так туго, что дышать было уже нельзя. И он остановился, изнемогая от головокружения и удушья.

Стравливая аркан в руках, хозяин стал приближаться сбоку. Гульсары видел его одним глазом. Хозяин подходил к нему в изодранной одежде, со ссадинами на лице. Но глаза хозяина смотрели не злобно. Он тяжело дышал и, причмокивая разбитыми губами, негромко, почти шепотом приговаривал:

– Тек, тек, Гульсары, не бойся, стой, стой!

За ним, не ослабляя аркан, осторожно приближался его помощник. Хозяин наконец дотянулся рукой до иноходца, погладил его по голове и коротко, не оборачиваясь, бросил помощнику:

– Уздечку.

Тот сунул уздечку.

– Стой, Гульсары, стой, умница, – приговаривал хозяин. Прикрыв глаза иноходца ладонью, он накинуд ему на голову уздечку.

Теперь предстояло взнудать его и оседлать. Когда уздечка была накинута ему на голову, Гульсары захрипел, попытался рвануться прочь. Но хозяин успел ухватить его за верхнюю губу.

– Накрутку! – крикнул он помощнику, и тот подбежал, быстро наложил на губу накрутку из ремня и стал накручивать ее на губе палкой, как воротом.

Иноходец присел от боли на задние ноги и больше уже не сопротивлялся. Холодные железные удила загремели на зубах и впились в углы рта. На спину ему что-то набрасывали, подтягивали, рывками стискивали ему ремнями грудь, так что он качался из стороны в сторону. Но это уже не имело значения. Была только всепоглощающая, невыносимая боль в губе. Глаза лезли на лоб. Нельзя было ни шелохнуться, ни вздохнуть. И он даже не заметил, когда и как сел на него хозяин, очнулся лишь после того, как сняли с губы накрутку.

Минуту-другую он стоял, ничего не соображая, весь стянутый и отяжелевший, потом покосил глазом через плечо и вдруг увидел на спине у себя человека. От испуга он кинулся прочь, но удила раздирали рот, а ноги человека крепко впились ему в бока. Иноходец вски-

нулся на дыбы, заржал негодуяще и яростно, заметался, взбрыкивая задом, и, весь напрягшись, чтобы сбросить с себя все, что давило его, ринулся в сторону, но аркан, на другом верховом коне, не пустил его. И тогда он побежал по кругу, побежал, ожидая, что круг разомкнется и он пустится прочь отсюда куда глаза глядят. Однако круг не размыкался, и он все бежал и бежал по кругу. Этого-то и надо было людям. Хозяин нахлестывал его плеткой и понукал каблуками сапог. Два раза иноходцу все же удалось скинуть его с себя. Но тот вставал и снова садился в седло.

Так продолжалось долго, очень долго. Кружилась голова, кружилась земля вокруг, кружились юрты, кружились разбредшиеся вдали лошади, кружились горы, кружились облака в небе. Потом он устал и пошел шагом. Очень хотелось пить.

Но пить ему не давали. Вечером, не расседывая, чуть только приослабив подпруги, его поставили у коновязи на выстойку. Повода уздечки были крепко намотаны на луку седла, так что голову приходилось держать прямо и ровно и лечь на землю в таком положении он не мог. Стремена были подняты наверх и тоже надеты на луку седла. Так он стоял всю ночь. Стоял смиренно, обескураженный всем тем невероятным, что ему пришлось пережить. Удила во рту все еще мешали, малейшее движение их причиняло жгучую боль, неприятен был привкус железа. Набухшие углы рта были раздерганы. Саднили под боком растертые ремнями места. И под потником ломило набитую спину. Страшно хотелось пить. Он слышал шум реки, и от этого еще больше одолевала жажда. Там, за рекой, как всегда, паслись табуны. Доносился топот многих копыт, ржанье лошадей и крики ночных табунщиков. Люди возле юрт сидели у костров, отдыхали. Мальчишки дразнили собак, тьякали по-собачьи. А он стоял, и никому не было дела до него.

Потом взошла луна. Горы тихо выплыли из мрака и тихо закачались, освещенные желтой луной. Звезды разгорались все ярче, все ниже опускаясь к земле. Он смиренно стоял, прикованный к одному месту, а его кто-то искал. Он слышал ржанье маленькой гнедой кобылицы, той самой, вместе с которой вырос и с которой всегда был неразлучен. У нее белая звезда во лбу. Она любила бегать с ним. За ней уже стали гоняться жеребцы, но она не давалась, убегала вместе с ним подальше от них. Она была еще недоростком, а он тоже не достиг еще такого возраста, чтобы делать то, что пытались сделать с ней другие жеребцы.

Вот она заржала где-то совсем поблизости. Да, это была она, он точно узнал ее голос. Он хотел ответить ей, но боялся раскрыть издерганный, опухший рот. Это было страшно больно. Наконец она нашла его. Подбежала легким шагом, поблескивая при луне белой звездочкой во лбу. Хвост и ноги ее были мокрые. Она перешла через реку, принеся с собой холодный запах воды. Ткнулась мордой, стала обнюхивать, прикасаясь к нему упругими теплыми губами. Нежно фыркала, звала его с собой. А он не мог двинуться с места. Потом она положила голову на его шею и стала почесывать зубами в гриве. Он тоже должен был положить голову на ее шею и почесать ей холку. Но не мог ответить на ее ласку. Он не в состоянии был шевельнуться. Он хотел пить. Если бы она могла напоить его! Когда она убежала, он смотрел ей вслед, пока тень ее не растворилась в сумеречной тьме за рекой. Пришла и ушла. Слезы потекли из его глаз. Слезы стекали по морде крупными горошинами и бесшумно падали у ног. Иноходец плакал первый раз в жизни.

Рано утром пришел хозяин. Он глянул вокруг на весенние горы, потянулся и, улыбаясь, застонал от ломоты в костях.

– Ох, Гульсары, ну и потаскал ты вчера меня. Что? Продрог? Смотри, как подвело тебя.

Он потрепал иноходца по шее и стал говорить ему что-то доброе. Откуда было Гульсары знать, что именно говорил человек? А Танабай говорил:

– Ну, ты не обижайся, друг. Не вечно тебе ходить без дела. Привыкнешь, все пойдет на лад. А что намучился, так без этого нельзя. Жизнь, брат, такая штука, подкует на все четыре

ноги. Зато потом не будешь кланяться всякому встречному камню на дороге. Проголодался, а? Пить хочешь? Знаю...

Он повел иноходца к реке. Разнуздал его, осторожно вынимая удила из пораненного рта. Гульсары с дрожью припал к воде. Ах какая вкусная была вода и как благодарен он был за это человеку!

Вот так. Вскоре он настолько привык к седлу, что почти не чувствовал никакого стеснения от него. Легко и радостно ему стало носить на себе всадника. Тот всегда придерживал его, а он рвался вперед, четко печатая по дорогам дробный перестук иноходи. Он научился ходить под седлом так стремительно и ровно, что люди ахали.

– Поставь на него ведро с водой – и ни капельки не выплеснется!

А прежний табунщик, старичок Торгой, сказал Танабаю:

– Спасибо, хорошо выездил. Теперь увидишь, как поднимется звезда твоего иноходца!

3

Колеса старой телеги медленно скрипели по пустынной дороге. Время от времени скрип прерывался. Иноходец останавливался, выбившись из сил. И тогда в наступившей мертвой тишине он слышал, как гулко отдавались в ушах удары его сердца: тум-туп, тум-туп, тум-туп...

Старый Танабай поджидал, пока отдышится конь, затем снова брал его за узду:

– Пошли, Гульсары, пошли, вечереет уже.

Так они тащились часа полтора, пока иноходец не остановился совсем. Дальше он уже не мог тянуть телегу. Танабай снова засуетился, забегал вокруг коня:

– Что же ты, Гульсары, а? Смотри, скоро ночь уже!

Но конь не понимал его. Он стоял в упряжи, мотая головой, тяжесть которой стала ему уже непосильна, и шатаясь на ногах из стороны в сторону. А в ушах продолжал отдаваться оглушительный стук сердца: тум-туп, тум-туп, тум-туп.

– Ну, ты прости меня, – проговорил Танабай. – Мне бы сразу догадаться. Да пропади она пропадом, эта телега, эта сбруя, только бы довести тебя домой.

Он скинул на землю шубу и стал торопливо выпрягать коня. Вывел его из оглобеля, сдернул хомут через голову и кинул всю сбрую на телегу.

– Вот и все, – сказал он, надев шубу, поглядел на выпряженного иноходца. Без хомута, без сбруи, с непомерно большой головой, конь стоял сейчас среди холодной вечерней степи, как призрак. – Боже, во что ты превратился, Гульсары? – прошептал Танабай. – Если бы тебя увидел сейчас Торгой, перевернулся бы в могиле...

Он потянул иноходца за повод, и они снова медленно побрели по дороге. Старый конь и старый человек. Позади оставалась брошенная телега, а впереди, на западе, лежала на дороге темно-фиолетовая тьма. Ночь бесшумно растекалась по степи, заволакивая горы, смывая горизонт.

Танабай шел, вспоминал все связанное с иноходцем за долгие годы и с горькой усмешкой думал о людях: «Такие мы все. Вспоминаем друг о друге к концу жизни, когда кто тяжело заболит или помрет. Вот тогда вдруг становится всем нам ясно, кого потеряли, каким он был, чем славен, какие дела совершил. А что говорить о бессловесной твари? Кого только не носил на себе Гульсары! Кто только не ездил на нем! А состарился, и все о нем забыли. Идет теперь, еле волочит ноги. А ведь какой конь был!..»

И он снова вспоминал и удивлялся тому, как давно не возвращался в мыслях к прошлому. Все, что когда-то было, оживало в нем. Оказывается, ничто не исчезает бесследно. Раньше он просто мало думал о прошлом или, вернее, не позволял себе думать, а теперь, после разговора с сыном и невесткой, бредя по ночной дороге с издыхающим иноходцем на поводу, оглянулся с болью и грустью на прожитые годы, и все они живо встали перед ним.

Так он шел, погруженный в свои мысли, а иноходец плелся сзади, все больше и больше оттягивая повод. Когда рука старика немела, он перекладывал повод на другое плечо и снова тянул иноходца за собой. Потом это стало ему трудно, и он дал иноходцу отдохнуть. И, подумав, снял уздечку с головы коня.

– Иди впереди, иди как можешь, я буду сзади, я не брошу тебя, – сказал он. – Ну, иди, иди потихоньку.

Теперь иноходец шел впереди, а Танабай сзади, перекинув уздечку через плечо. Уздечку он никогда не бросит. Когда Гульсары останавливался, Танабай поджидал, пока он наберется сил, и они снова брели по дороге. Старый конь и старый человек.

Танабай грустно улыбнулся, вспомнив, как по этой же самой дороге мчался в свое время Гульсары и пыль стелилась за ним хвостом. Чабаны говорили, что по этой пыли они за многие версты узнают бег иноходца. Пыль из-под его копыт прочерчивала степь белым бегучим следом

и в безветренную погоду нависала над дорогой, как дым реактивного самолета. Стоял чабан в такие минуты, прикрыв глаза козырьком ладони, говорил себе: «Это он идет, Гульсары!» – и с завистью думал о том счастливице, который, обжигая лицо горячим ветром, летел на этом коне. Великая честь для киргиза, когда под ним бежит такой знаменитый иноходец.

Сколько председателей колхоза пережил Гульсары, разные бывали – умные и самодуры, честные и нечестные, но все до одного ездили на иноходце с первого и до последнего дня своего председательства. «Где они теперь? Вспоминают ли порой про Гульсары, который носил их с утра и до вечера?» – думал Танабай.

Они добрались наконец до моста через овраг. Здесь опять остановились.

Иноходец стал подгибать ноги, чтобы лечь на землю, но Танабай не мог этого допустить: потом никакими силами не поднимешь.

– Вставай, вставай! – закричал он и ударил коня уздечкой по голове. И, досадуя на себя за то, что ударил, продолжал орать: – Ты что, не понимаешь? Подышать собрался? Не дам! Не позволю! Вставай, вставай, вставай! – Он тянул коня за гриву.

Гульсары с трудом выпрямил ноги, тяжело застонал. Хотя и темно было, Танабай не посмел глянуть коню в глаза. Он погладил его, пощупал, затем приник ухом к его левому боку. Там, в груди у коня, захлебываясь, плескалось сердце, как мельничное колесо в водорослях. Он стоял так, согнувшись возле коня, долго, пока не зануло в пояснице. Потом разогнулся, покачал головой, вздохнул и решил, что, пожалуй, придется рискнуть – свернуть за мостом с дороги на тропу, что идет вдоль оврага. Тропа та уходила в горы, и по ней можно было быстрее добраться домой. Правда, ночью не мудрено и заблудиться, но Танабай надеялся на себя, места эти издавна знал, только бы конь выдержал.

Пока старик думал об этом, вдаль засветились фары попутной машины. Огни внезапно выплыли из мрака парой ярких шаров и стали быстро приближаться, прощупывая перед собой дорогу длинными, качающимися лучами. Танабай с иноходцем стояли у моста. Машина им ничем не могла помочь, и все же Танабай ждал ее. Ждал просто так, безотчетно. «Наконец-то хоть одна», – подумал он, довольный уже тем, что на дороге появились люди. Фары грузовика мощным снопом света полоснули его по глазам, и он прикрыл их рукой.

Двое людей, сидевших в кабине машины, с удивлением смотрели на старого человека у моста и стоящую рядом с ним захудалую клячу без седла, без уздечки, точно то была не лошадь, а собака, увязавшаяся за человеком. На какое-то мгновение прямой поток света добела озарил старика и коня, и они вдруг превратились в белые бесплотные контуры.

– Чудно, чего он здесь среди ночи? – сказал сидящий рядом с шофером долговязый парень в ушанке.

– Это он, это его телега там, – пояснил шофер и остановил машину. – Ты чего, старик? – крикнул он, высунувшись из кабины. – Это ты бросил телегу?

– Да, я, – ответил Танабай.

– То-то. Глядим, бричонка разваливающая на дороге. Вокруг никого. Хотели сбрую подобрать, да тоже никудышная.

Танабай промолчал.

Шофер вылез из машины, прошелся несколько шагов, обдавая старика перегорелым запахом водки, и стал мочиться на дорогу.

– А что случилось? – спросил он, обернувшись.

– Конь не потянул, занемог, да и старый уже.

– М-м. Ну и куда же теперь?

– Домой. В Сарыгоускую щель.

– Тю-у, – присвистнул шофер. – В горы? Не по пути. А то лезь в кузов, так и быть, подброшу до совхоза, а там уедешь завтра.

– Спасибо. Я с конем.

– Вот эта дохлятина? Да брось ты его к собакам, столкни вон в овраг – и делу конец, склюет воронье. Хочешь, поможем?

– Поезжай, – мрачно процедил Танабай.

– Ну, как знаешь, – усмехнулся шофер и, захлопывая дверцу, бросил в кабину: – Ополоумел старик!

Машина тронулась, унося с собой мутный поток света. Мост тяжело заскрипел над оврагом, освещенным темно-красным светом стоп-сигналов.

– Зачем смеешься над человеком, а если бы тебе так пришлось? – сказал за мостом парень в ушанке, сидевший в кабине с шофером.

– Ерунда... – Шофер, зевая, крутанул баранку. – Мне приходилось всякое. Я дело сказал. Подумаешь, кляча какая-то! Пережитки прошлого. Сейчас, брат, техника всему голова. Везде техника. И на войне. А таким старикам и лошадям конец пришел.

– Зверюга ты! – сказал парень.

– Плевал я на все, – ответил тот.

Когда машина ушла, когда ночь снова сомкнулась вокруг и когда глаза снова привыкли к темноте, Танабай погнал иноходца:

– Ну, пошли, чу, чу! Иди же!

За мостом он завернул коня с большой дороги на тропинку. Теперь они медленно продвигались по тропе, едва приметной в темноте над оврагом. Луна еще чуть выглядывала из-за гор. Звезды ждали ее выхода, холодно поблескивали в холодном небе.

4

В тот год, когда Гульсары был объезжен и обучен, табуны поздно снялись с осенних выпасов. Осень затянулась против обычного, и зима выдалась мягкая, снег падал часто, но не залеживался, корма хватало. А весной табуны снова спустились в предгорья и, как только зацвела степь, двинулись вниз.

После войны это было, пожалуй, самое лучшее время в жизни Танабая. Серый конь старости ждал его еще за перевалом, хотя и близким, и Танабай пока ездил на молодом буланом иноходце. Попадись ему этот иноходец несколько лет спустя, вряд ли бы он испытывал такое мужественное возбуждение, какое давала ему езда на Гульсары. Да, Танабай не прочь был иной раз и покрасоваться на людях. И как ему было не красоваться, сидя верхом на бегущем иноходце! Гульсары это хорошо знал. Особенно когда Танабай ехал в аил через поля, где встречались на дороге женщины, идущие гурьбой на работу. Еще далеко от них он выпрямлялся в седле, весь как-то напруживался, и его возбуждение передавалось коню. Гульсары поднимал хвост почти вровень со спиной, грива со свистом пласталась на ветру. Похрапывая, он петлял, легко неся на себе всадника. Женщины в белых и красных косынках расступались по краям дороги, утопая по колено в зеленой пшенице. Вот они остановились как завороженные, вот разом обернулись, мелькнули лица, сияющие глаза, улыбки и белые зубы.

– Эй, табунщик! Остано-ви-ись!

И вдогонку неслись смех и последние слова:

– Смотри, попадешься, поймаем!

Бывало, что и вправду ловили, перегораживали дорогу, держась за руки. Что тут было! Любит бабье подурачиться. Стаскивали Танабая с седла, хохотали, визжали, вырывая из рук камчу:

– Признавайся, когда привезешь нам кумыса?

– Мы тут на поле с утра до вечера, а ты на иноходце раскатываешь!

– Кто же вас держит? Идите табунщиками. Только накажите мужьям, чтобы они подыскивали себе других. Замерзнете в горах, как сосульки.

– Ах, вот как! – И снова принимались тормошить его.

Но не было случая, чтобы Танабай позволил кому-нибудь сесть на иноходца. Даже та женщина, при встрече с которой у него сразу менялось настроение и он заставлял иноходца идти шагом, так ни разу и не проехала на его коне. Возможно, она этого и не хотела.

В тот год избрали Танабая в ревизионную комиссию. Часто наезжал он в аил и почти каждый раз встречался там с этой женщиной. Из конторы он часто выходил злой. Гульсары это чувствовал по его глазам, по голосу, по движению рук. Но, встречаясь с ней, Танабай всегда добрел.

– Ну-ну, потише, куда так! – шептал он, успокаивая ретивого иноходца, и, поравнявшись с женщиной, ехал шагом.

Они о чем-то негромко переговаривались, а то и просто молчали. Гульсары чувствовал, как отлегалась тяжесть с сердца хозяина, как теплел его голос, как ласковой становились его руки. И поэтому он любил, когда они нагоняли по дороге эту женщину.

Откуда было знать коню, что в колхозе жилось туго, что на трудодни почти ничего не перепадало и что член ревизионной комиссии Танабай Бакасов допытывался в конторе, и как же это получается и когда же наконец начнется такая жизнь, чтобы и государству было что дать и чтобы люди не даром работали.

В прошлом году был неурожай, бескормица, в нынешнем – отдали сверх плана хлеб и скот за других, чтобы район не ударил лицом в грязь, а что будет дальше, на что колхозники могут рассчитывать – неизвестно. Время шло, о войне уже стали забывать, а жили по-прежнему тем, что собирали с огородов и ухитрялись утащить с полей. Денег в колхозе тоже не

было: все сдавалось в убыток себе – хлеб, молоко, мясо. Летом животноводство разрасталось, а зимой шло прахом, скот подыхал с голода и холода. Надо было срочно строить кошары, коровники, базы для кормов, а стройматериалов неоткуда было взять и никто не обещал их дать. А жильё во что превратилось за войну? Если кто строился, так только те, что больше по базарам промышляли скотом да картошкой. Такие стали силой, они и стройматериалы находили на стороне.

– Нет, не должно быть так, товарищи, что-то тут не в порядке, какая-то тут большая загвоздка у нас, – говорил Танабай. – Не верю, что так должно быть. Или мы разучились работать, или вы неправильно руководите нами.

– Что не так? Что неправильно? – Бухгалтер совал ему бумаги. – Вот смотри планы... Вот что получили, вот что сдали, вот дебет, вот кредит, вот сальдо. Доходов нет, одни убытки. Чего ты еще хочешь? Разберись сначала. Один ты коммунист, а мы враги народа, да?

В разговор влезали другие, начинался спор, шум, и Танабай сидел, сжав голову руками, и думал в отчаянье, что же это такое происходит. Он страдал за колхоз не только потому, что работал в нем, – были еще и другие, особые причины. Были люди, у которых с Танабаем давно счёты. Он знал, что они теперь посмеиваются над ним втихую и, завидев его, вызывающе глядят в лицо: ну как, мол, дела-то? Может, опять раскулачивать возьмешься? Только с нас теперь спрос невелик. Где сядешь, там и слезешь. У-ух, почему только не пришибло тебя на фронте!..

И он им отвечал взглядом: подождите, сволочи, все равно будет по-нашему! А ведь люди это не чужие, свои. Сводный брат его Кулубай – старик уже, до войны отсидел в Сибири семь лет. Сыновья тоже пошли в отца, люто ненавидят Танабая. И с чего бы им любить? Может, и дети их будут ненавидеть род Танабая. И имеют на то причины. Дело это давнее, а обида у людей живет. Надо ли было поступать так с Кулубаем? Разве не был он просто справным хозяином, середняком? А родство куда денешь? Кулубай от старшей жены, а он от младшей, но у киргизов такие братья считаются как единоутробные. Значит, и на родство он посягнул, сколько разговоров тогда было. Теперь, конечно, можно по-разному судить. А тогда? Разве не ради колхоза он пошел на это дело? А надо ли было? Раньше не сомневался, а после войны думал порой иначе. Не нажил ли лишних врагов себе и колхозу?

– Ну что ты сидишь, Танабай, очнись, – возвращали его к разговору. И снова все то же: надо за зиму вывезти весь навоз на поля, собирать по дворам. Колес нет – значит, надо купить карагачевого леса, железа на шины, а на какие деньги, дадут ли кредит и подо что? Банк словам не верит. Старые арыки надо ремонтировать, новые прокопать, работа большая, тяжелая. Зимой народ не идет, земля мерзлая, не раздолбаешь. А весной не успеть – посевная, окот, прополки, а там сенокос... А как быть с овцеводством? Где помещения для расплода? И на молочной ферме тоже не лучше. Крыша прогнила, кормов не хватает, доярки не хотят работать. Толкутся с утра до ночи, а что получают? А сколько еще было разных других забот и нехваток? Жутко становилось подчас.

И все же собирались с духом, снова обсуждали эти вопросы на партсобрании, на правлении колхоза. Председателем был Чоро. Потом только оценил его Танабай. Критиковать, оказывается, было легче. Танабай отвечал за табун лошадей, а Чоро за всех и за все в колхозе. Да, крепким был человеком Чоро. Когда, казалось, все разваливается, когда стучали на него по столу в районе и хватили за грудки в колхозе, не пал Чоро духом. Танабай на его месте или с ума сошел бы, или покончил с собой. А Чоро все же удержал хозяйство, стоял до последнего, пока совсем не сдало сердце, и потом еще поработал года два парторгом. Умел Чоро убеждать, говорить с людьми. Вот так и получалось, что, послушав его, Танабай снова верил, что все наладится, что будет наконец так, как мечтали об этом в самом начале. Один раз только пошатнулась его вера в Чоро, но и то он сам больше был виноват...

Иноходец не знал, что творилось на душе Танабая, когда он выходил из конторы со злым взглядом и сдвинутыми бровями, когда он жестко садился в седло и резко дергал поводья.

Но он чуял, что хозяину очень плохо. И хотя Танабай никогда его не бил, иноходец в такие минуты боялся хозяина. А увидев на дороге ту женщину, конь уже знал, что хозяину теперь станет легче, что он подберет, придержит его и будет о чем-то негромко разговаривать с ней, а ее руки будут теревить его, Гульсары, гриву, гладить шею. Ни у кого из людей не было таких ласковых рук. Это были удивительные руки, упругие и чуткие, как губы той маленькой гнедой кобылицы со звездой на лбу. И ни у кого на свете не было таких глаз, как у этой женщины. Танабай разговаривал с ней, склонившись с седла, а она то улыбалась, то хмурилась, качала головой, не соглашаясь с чем-то, и глаза ее переливались светом и тенью, как камни на дне быстрого ручья в лунную ночь. Уходя, она оглядывалась и опять качала головой.

После этого Танабай ехал задумчивый. Он отпускал поводья, и иноходец шел так, как ему хотелось. Вольно, дорожным тротом. Хозяина словно и не было в седле. Словно и он, и конь были каждый сам по себе. И песня появлялась сама по себе. Негромко, без ясных слов, под мерный топот иноходца напевал Танабай про страдания давно ушедших людей. А конь выбирал знакомую тропку и нес его в степь за реку, к табунам...

Гульсары любил, когда у хозяина было такое настроение, любил он по-своему и эту женщину. Он знал ее фигуру, походку, улавливал даже своим тонким нюхом какой-то странный, диковинный запах незнакомой травы, исходящий от нее. То была гвоздика. Она носила бусы из гвоздики.

– Ты заметь, как он тебя любит, Бюбюжан, – говорил ей Танабай. – А ну погладь, погладь еще. Ишь как уши развесил. Прямо теленок. А в табунах сейчас жизни нет от него. Дай только волю. Грызется с жеребцами, как собака. Вот и держу его под седлом, боюсь, как бы не покалечили. Зелен еще.

– Он-то любит, – думая о чем-то своем, отвечала она.

– Хочешь сказать, что другие не любят?

– Я не о том. Мы свое отлюбили. Жаль мне тебя будет.

– Это почему же?

– Не такой ты человек, тяжело потом тебе будет.

– А тебе?

– Что мне? Я вдова, солдатка. А ты...

– А я член ревизионной комиссии. Вот встретил тебя и выясняю кое-какие факты, – пытался шутить Танабай.

– Что-то ты часто стал выяснять факты. Смотри.

– Ну, а я при чем? Я иду, и ты идешь.

– Я иду своей дорогой. Нам не по пути. Ну, прощай. Некогда мне.

– Слушай, Бюбюжан!

– Ну что? Не надо, Танабай. Зачем? Ты же умный человек. Мне и без тебя тошно.

– Что ж, я тебе враг, что ли?

– Ты себе враг.

– Как это понимать?

– Как хочешь.

Она уходила, а Танабай ехал по улицам села вроде бы куда-то по делу, заворачивал на мельницу или к школе и снова, сделав круг, возвращался, чтобы посмотреть, хотя бы издали, как она выйдет из дома свекрови, где она оставляла дочку на время работы, и как пойдет к себе, на окраину, ведя девочку за руку. Все в ней было до бесконечности родным. И то, как она шла, стараясь не смотреть в его сторону, и ее белеющее в темном полушалке лицо, и ее девочка, и собачонка, бежавшая рядом.

Наконец она скрывалась в своем дворе, и он ехал дальше, представляя себе, как она отомкнет дверь пустого дома, скинет обтрепанный ватник, побежит в одном платье за водой, растопит очаг, умоет и накормит девочку, встретит корову в стаде и ночью будет лежать одна

в темном, беззвучном доме и будет убеждать себя и его, что им нельзя любить друг друга, что он семейный человек, что в его годы смешно влюбляться, что всему есть своя пора, что жена его хорошая женщина и что она не заслуживает того, чтобы муж тосковал по другой.

От таких мыслей Танабаю становилось не по себе. «Значит, не судьба», – думал он и, глядя в дымчатую даль за рекой, напевал старинные песни, позабыв обо всем на свете, о делах, о колхозе, об обувке и одежде детям, о друзьях и недругах, о сводном брате Кулубае, с которым они не разговаривают многие и многие годы, о войне, которая нет-нет да и приснится, обливая его холодным потом, забывал обо всем, чем жил. И не замечал, что конь шел бродом через реку и, выйдя на другой берег, снова пускался в путь. И только тогда, когда иноходец, почуввав близость табуна, прибавлял шагу, он приходил в себя.

– Т-р-р, Гульсары, куда ты так несешь?! – спохватывался Танабай, натягивая поводья.

5

И все же, несмотря ни на что, прекрасное было то время и для него, и для иноходца. Слава скакуна сродни славе футболиста. Вчерашний мальчишка, гонявший мяч по задворкам, становится вдруг всеобщим любимцем, предметом разговоров знатоков и восхищения толпы. И чем дальше, тем больше возрастает его слава, пока он забивает голы. Потом он постепенно сходит с поля и начисто забывается. И первые забывают его те, кто громче всех восхищался им. На смену великому футболисту приходит другой. Таков и путь славы скакуна. Он знаменит, пока непобедим в состязаниях. Единственная разница, пожалуй, лишь в том, что коню никто не завидует. Лошади не умеют завидовать, а люди, слава богу, еще не научились завидовать лошадям. Хотя как сказать – пути зависти непостижимы, известны случаи, когда, чиня зло человеку, завистники вколачивали гвоздь в копыто коня. Ох, эта черная зависть!.. Но бог с ней...

Сбылось предсказание старика Торгоя. В ту весну высоко поднялась звезда иноходца. Уже все знали о нем – и стар и мал: «Гульсары!», «Иноходец Танабай», «Краса айла»...

А чумазые мальчишки, еще не выговаривающие букву «р», бегали по пыльной улице, подражая бегу иноходца, и наперебой кричали: «Я Гульсалы... Нет, я Гульсалы... Мама, скажи, что я Гульсалы... Чу, впелед, а-и-и-й, я Гульсалы...»

Что значит слава и какую великую силу имеет она, познал иноходец на первой своей большой скачке. То было Первое мая.

После митинга на большом лугу у реки начались игры. Народу сошлось и съехалось отовсюду уйма. Люди понаехали из соседнего совхоза, с гор и даже из Казахстана. Казахи выставляли своих коней.

Говорили, что после войны не было еще такого большого праздника.

С утра еще, когда Танабай оседлывал, с особой тщательностью проверяя подпруги и крепления стремян, иноходец почувствовал по блеску в его глазах и дрожанию рук приближение чего-то необыкновенного. Хозяин очень волновался.

– Ну, смотри у меня, Гульсары, не подкачай, – шептал он, расчесывая коню гриву и челку. – Ты не должен опозорить себя, слышишь! Мы не имеем на то права, слышишь!

Ожидание чего-то необыкновенного чувствовалось в самом воздухе, взбудораженном голосами и беготней людей. По соседним стойбищам седлали своих коней табунщики. Мальчишки были уже на лошадях, они с криками носились вокруг. Потом табунщики съехались и все вместе двинулись к реке.

Гульсары был ошеломлен таким скоплением на лугу людей и коней. Гул и гомон стояли над рекой, над лугом, над пригорками вдоль поймы. В глазах рябило от ярких платков и платьев, от красных флагов и белых женских тюбанаов. Кони были в лучших сбруях. Звенели стремена, бряцали удила и серебряные подвески на нагрудниках.

Кони под всадниками, теснясь в рядах, нетерпеливо топтались, просили поводья и рыли копытами землю. В кругу гарцевали старики, распорядители игр.

Гульсары ощущал, как в нем все больше нарастает напряжение, как весь он наливается силой. Ему казалось, что в него вселился какой-то огненный дух, и чтобы от него освободиться, надо скорее вырваться в круг и понестись.

И когда распорядители дали знак к выходу в круг и Танабай приспустил поводья, иноходец вынес его на середину, завертелся, не зная еще, куда устремиться. По рядам пронесся гул: «Гульсары! Гульсары!..»

Выехали все желающие принять участие в большой байге. Набралось человек пятьдесят верховых.

– Просите у народа благословения! – торжественно провозгласил главный распорядитель игр.

Бритоголовые всадники с тугими повязками на лбу двинулись вдоль рядов, подняв руки с раскрытыми ладонями, и из края в край прошумел единый вздох: «Оомиин!» – и сотни рук поднялись ко лбам и опустили ладонями по лицам, как стекающие потоки вод.

После этого всадники отправились на рысях к старту, который был в поле, за девять километров отсюда.

Тем временем начались игры на кругу – борьба пеших и конных, стаскивание с седел, поднятие монет на скаку и другие состязания. Все это было только вступлением, главное начнется там, куда ускакали всадники.

Гульсары горячился по пути. Он не понимал, почему хозяин сдерживает его. Вокруг гарцевали и ярились другие кони. И оттого, что их было много и все просились вскачь, иноходец злился и дрожал от нетерпения.

Наконец все выстроились на старте в один ряд, голова к голове, отправитель проскакал перед фронтом из конца в конец, поднял белый платок. Все замерли, возбужденные и настоженные. Рука взмахнула платком. Кони рванулись, и вместе со всеми, подхваченный порывом, ринулся вперед Гульсары. Земля загремела барабаном под лавиной копыт, взметнулась пыль. Под гиканье и крики верховых лошади распластались в бешеном карьере. Только один Гульсары, не умевший скакать галопом, шел иноходью. В этом были и слабость его, и сила.

Сначала шли все кучей, но уже через несколько минут начали растягиваться Гульсары не видел этого. Он видел только, что резвые скаковые лошади обошли его и были уже впереди, на дороге. В морду хлестали из-под копыт горячий щебень и комья сухой глины, а вокруг скакали кони, кричали верховые, свистели нагайки и клубилась пыль. Пыль разрасталась облаком и летела над землей. Резко пахло потом, кремнем и молодой растоптанной полынью.

Так продолжалось почти до половины пути. Впереди всех неслись с недосыгаемой для иноходца скоростью с десятков лошадей. По сторонам стало стихать, шум задних отставал, но то, что впереди шли другие, и то, что поводья так и не давали ему полной свободы, поднимало в нем ярость. В глазах темнело от злобы и ветра, дорога стремительно уплывала под ноги, солнце катилось навстречу, падая с неба огненным шаром. Жаркий пот прошибал по всему телу, и чем больше иноходец потел, тем легче становился он сам для себя.

И вот наступил момент, когда скаковые лошади стали уставать и постепенно сдавать в беге, а иноходец только входил в разгар своих сил. «Чу, Гульсары, чу!» – услышал он голос хозяина, и солнце еще быстрее покатило навстречу. И замелькали одно за другим наступившие и оставленные позади искаженные яростью лица всадников, взмытые в воздух плетки, оскаленные, хрипящие морды коней. Исчезла вдруг власть удил и поводьев, не стало для Гульсары ни седла, ни всадника – в нем бушевал огненный дух бега.

И все же впереди шли бок о бок два скачущих коня, темно-серый и рыжий. Оба, не уступая друг другу, мчались, подгоняемые криками и плетками верховых. Это были сильные скакуны. Гульсары долго настигал их и на подъеме дороги обошел наконец. Он вскочил на бугор, точно бы на гребень большой волны, и на какое-то мгновение словно завис в полете, невесомый. Дух захватило в груди, и еще ярче брызнуло солнце в глаза, и он стремительно пошел вниз по дороге, но вскоре услышал позади топот настигающих копыт. Те двое, темно-серый и рыжий, брали реванш. Они подошли с двух сторон почти вплотную и уже не отставали ни на шаг.

Так мчались они втроем, голова к голове, слившись в едином движении. Гульсары казалось, что они теперь вовсе не бегут, что все они просто застыли в каком-то странном оцепенении и безмолвии. Можно было даже разглядеть выражение глаз соседей, их напряженно вытянутые морды, закушенные удила, уздечки и поводья. Темно-серый смотрел свирепо и упрямо, а рыжий волновался, взгляд его неуверенно скользил по сторонам. Именно он первым начал

отставать. Сначала скрылся его виноватый, блуждающий взгляд, затем уплыла назад морда с раздутыми ноздрями, и больше его не стало. А темно-серый отставал мучительно и долго. Он медленно умирал на скаку, взгляд его постепенно стекленел от бессильной злобы. Так и ушел он, не желая признать поражения.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.